

ПИСЬМА В РОССИЮ

(три отрывка)

1

Многие из тех, кто считают своим культурным делом обличать современную Россию и превозносить Запад, обычно утверждают, что вульгарный и воинствующий материализм атактически господствует в наше время только на проклятой территории большевицкой революции, в то время, как европейская культура будто бы выходит и уже вышла на пути нового идеализма. Трудно, конечно, спорить против того, что идейная и «научная» база современного русского коммунизма и невежественно — жалка, и отстала. В каком то смысле большевики действительно воскресили во всероссийском масштабе чудовищное подполье 60-х и 70-х г.г. Но из этого не вытекает всетаки апологетического противопоставления «убитой» России — живоносной Европы. Во первых — огромное явление большевицкой революции к одному подполью несводимо. Но, во вторых, пусть даже мирозерцательный кризис руководящих европейских кругов и культурного авангарда на лицо (что еще весьма сомнительно). -- Разве это в какой либо мере отражается на общем и среднем типе европейского обывателя? и много ли надежд, что масса мелкой и средней буржуазии — социальная основа всей европейской жизни — окажется проницаемой для новых, даваемых сверху и без особой убедительности, мирозерцательных директив? Не так давно командные высоты европейского просвещения возвещали другое и настойчиво требовали от своих профанов совсем иных исповеданий. Весь 19-й век прокатился под громы позитивизма, бодрого и жестокого, и закончил «переоценку всех ценностей», начатую еще

в предыдущих ядовитых и придиричвых столетиях. «Органическое» средневековье отстаивало себя долго и улорно. Нужно было потратить около трех столетий, чтобы внушить массам лукавую идею о «выгодности» всяческого критицизма. И победа пришла лишь тогда, когда новые черты и идеалы жизни (— скептический позитивизм) нашли для себя идеально-простые в своем роде формы и перешли в сферу массового подосзания. Это окончательно заколодало среднего европейца и закрыло все пути к освобождению. Некогда истовые, жившие богобоязненным бытом пригородные и мелкогородные «бюргеры», после трехсотлетних кризисов веры и мирозерцания — обратились в «мелко-буржуазную стихию», вернее в крепкий социальный корпус, с замкнутыми и стойкими представлениями о добре и доблести и, конечно, не столичным слабосильным проповедником нового идеализма (все равно религиозного или гражданского) «прорубить окно» в свою же буржуазную Европу. Если даже мировая война не смогла надомить европейских традиций и представлений, то одна лишь революционная катастрофа, которая в XX в. ведь всегда возможна, способна повернуть исторический ход тех масс, которые в сущности свое мирозерцательное крещение получили когда то также на революционных площадях и баррикадах. Но так ли уж правы те, новые духоводители Европы, что, отказываясь ныне от однобожности материализма и позитивизма, обращаются к «наукам о духе» и метаспихике? Можно ли сказать, что познавательные методы современной европейской науки и полу-науки фундаментально отличны от преодолеваемого позитивизма? И не вступает ли научное сознание, которое имеет даже шансы стать популярным, лишь в иной аспект классического имманентизма, направляя себя лишь в сторону его т. ск. четвертого измерения?

Подлинно религиозный опыт с окончательной безусловностью устанавливает свою природу познавательного метода и утверждает, что только неразрывное и эквивалентное сочетание начал мистики, этики и пластики *) пригодит к органически цельному и истинному Бого-и миропознанию. Можно — и это вменено человеческому разуму, как долг — вторгаться в

* Влияние пластики — материал-вещество и форма — неразделимы. Можно сказать, что оно определяет образы и формы, как организацию эмпирического бытия.

сферу онтологической тайны, но это вторжение может быть плодотворным лишь при условии, что оно совершается во имя и именем добра, пользы и действительной цели (этический момент) и притом еще в известных, особо предуказанных пластических формах. Без этой двойной обусловленности всякий мистический акт становится либо оккультной магией, либо насильственным и пустым экспериментаторством, что в обоих случаях приводит к духовной деградации самого акта, к помрачению чувства реальности, к псевдо научной ожесточенности и внешнему пластическому уродству. Точно также и этический акт в системе религиозного мирозерцания — неразрывно связуется с двумя другими стимулами, его обосновывающими и поддерживающими: с одной стороны этический принцип коренится в мистической иноприродности Закона, — в то же время выражая в человечески-понятных категориях добра его ужасающую онтологическую непонятность и являясь как бы ручательством его истинности, — и с другой — дает целевое и прагматическое осмысление тем внешним пластическим формам через которые себя выражает. И, наконец, все многообразие пластических образов и форм эмпирии, являясь манифестацией самой сущности жизни, служит для символического раскрытия и выражения ее первичной тайны, и для выражения ее качественно ценностных признаков. Конечно, в современном мета-позитивном сознании и знании, это триединство не восстановлено и невозстановимо. По-прежнему, (т. е. по-прежнему) чувство «тайны» — удовлетворяется и «голым» оккультизмом, а интуиция «тайны» побеждается на путях позитивистического монизма. Искания правды, жизненной и житейской, уводятся в сферу автономного права, а внешние формы жизни и быта утеряли свою символичность; утеряно и самое понимание этой символичности. Пластика — стала надстройкой экономического принципа.

Может быть возврат к органической эпохе веры и не возможен, но тогда незачем и говорить о европейском ренессансе.

Пока что имеются два враждебных многочисленных стана: вернее, впрочем, противопоставлены друг другу: глубокие окопы буржуазного обывательства и подвижный шумный лагерь революционного пролетариата. Между ними бессильно суетится в каком то количестве послевоенная, да и до оенная, европейская интеллигенция, все еще не понимающая, что предстоящее столкновение произойдет без них (количество с обеих сторон растопчет,

если не качество, то во всяком случае «квалифицированность»). И кто победит, буржуазная масса, или коммунистический коллектив — судить преждевременно.

2

Обычным доводом, выставляемым новыми русскими западниками против России — является утверждение, что она всегда под тем, или иным видом, рабствовала и что у русских вообще понижена воля к свободе.

При этом, сплошь и рядом, разумеется не современная Россия, в которой, действительно, многое подавлено навоеванием коммунизма, но Россия всяческая, прошлая и историческая. Ни у одной страны нет столько внутренних врагов и такого чувства самоотвращения, как у России. И неприязнь и эксцессы гонительства, возникают именно по отношению к самому русскому культурному типу; это он обладает таинственным свойством восстанавливать своих же поданных и выразителей против существа своей же психологии и исторической темы, приводя тем, самым, если не всегда к положительным фактам, то во всяком случае обуславливая этим особую трагичность русской культуры, часто в корне меняющей свои пути и цели.

Конечно, и интуиция и практические формы «свободы» — русского типа, не походя на западные, вызывают по отношению к себе также ненависть и обличение самих же русских. В социальной философии, равно как и в религиозной антропологии — проблема свободы стоит в центре, к которому стягиваются и от которого исходят все остальные категории. Между тем, во всех обычных рассуждениях на тему о свободе эта центральность установки неизменно смещается и вместо того, чтобы понимать феномен свободы (как данность и заданность, как принцип и ценность, как ощущение и навык), функционально связанным со всеми сторонами и явлениями данной культурной среды, данного культурного типа и определенного времени — обсуждение соскальзывает к рассмотрению лишь одного из его аспектов, чаще всего аспекта морально-юридического.

Качественная и количественная сущность «свободы», «свобода», как система отвлеченных идеалов и прикладных норм —

непрестанно меняется и переоформляется в зависимости от всех явлений жизни в их временной текучести. И это одинаково относится, как к биографическому переживанию свободы отдельной личностью (ощущение себя — в свободе и ощущение свободы в себе), так и к развитию этой темы целым народом.

Если западная культура делает все, чтобы создать для современного homo europaeus наибольшие преимущества в сфере правовых и социальных «свобод» и «морального достоинства» жизни, то одновременно с этим и за счет этого она закрепляет людей по ряду других жизненных сторон и функций. Происходит как бы перемещение центров закрепления, при чем новые центры необходимости долгое время остаются неосознанными. Именно в наше время, на глазах у всех, но невидимо, жизнь, в бурном историческом приливе новых порабощений, затопляет те стороны жизни, которые когда то были вне достижимости рабства и освобождает закрепленные позиции прошлого.

Новым ликам и формам свободы — должно соответствовать и иное осмысление. Морально-юридический подход к идее и существу свободы дал очень много, и этот опыт не должен забываться, но вместе с выдвиганием иных жизненных фактов и факторов должны, тем не менее уступить место и им отзывчающей философии свободы.

Смена эпохи — меняет перспективы во все стороны, и новые наблюдательные высоты дают возможность с усиленной зоркостью взглянуться в старые горизонты. И вот, глядя назад — т. е. на современную Европу, можно сказать, перед лицом того будущего, которое многим предстает, как надвигающаяся культурная тирания, что свободолобивый Запад также рабствует и также внутренне связан, как и «дикая» и «крепостная» Россия, за которой это будущее; но рабствует по другому, по другим линиям и планам. (Достаточно указать на всестороннюю обязательную взаимообусловленность и связанность всех и каждого в сфере деловой и делческой, при полной бытовой разобщенности; или на беспощадное господство в буржуазной Европе крепостного принципа конкуренции, во всех решительно областях жизни, как экономического коррелата зависти; или на категорическую силу того, что можно было бы назвать «законом второй половины жизни», ведущий с неотвратимостью к тому, что первая («вольная») по

ловина жизни каждого среднего европейца порабощена составлением себе «положения» и капитала, а вторая (стабильная), определяемая рентой, безвыходно заключена в рамках и степени лишь той «свободы», которая «заработана» в прошлом, в зависимости от удачливости первой половины жизни.

Повидимому людям отпущено неумолимо определенное и неизменное «количество» свободы и принуждения; лишь сочетания их безконечны, и различие только в том, что в разные сроки порабощаются те, или иные части и функции жизненного организма.

3

Повесть наших отцов,
Точно повесть из века Стюартов,
Отдаленней, чем Пушкин,
И видится, точно во сне.

Б. Пастернак, «1905-й год».

.....

Всякий момент, или отрезок времени, который осознается, как прошедшее (конченное) неминуемо отбрасывает от себя тень в памяти и по сравнению с тем, что продолжает быть еще настоящим (длящимся) — переходит в план мэоничного инобытия. Тоже относится и к восприятию событий — фактов. Наше представление о жизни всегда двойится между т. наз. реальностью настоящего и призрачностью прошедшего (сознанием и памятью), но эта двойственность неуловима и мало осознаваема; также неосознаваема, как и реальность смерти, которая ведь и проступает, лишь в ослабленном призраке, в этом разрыве и при всяком восприятии прошлого. Можно к мэоничности смерти относиться благоговейно, но иногда она становится угрожающей и тогда страх способен перейти в ненависть.

Аналогичное отношение должно возникнуть и к призраку будущего (— нового), когда это будущее внезапно выступает из «настоящего», обращая его мгновенно в полубытие. Жизнь может восприниматься, как единый непрерывный поток времени и процессов и как сосуществование отдельных аспектов бытия, как безконечно сложный комплекс разрывов, частей и циклов. Быть может именно в этом понимании прерывности и задана и раскрывается, применительно к эмпирии, сверх-прерывная (но

не непрерывная) сущность мира. И тогда понятно, что появление в сфере действительной «стабилизованной» данности нового вида конкретного бытия, и иноприродной по отношению к настоящему, реальности — воспринимается также, как смерть. Страх и непонятность коренятся в том, что все переходы жизни из одного вида в другой — совершаются всегда на основе некоей неизменной эмпирической схемы, что делает неузнаваемыми такие явления и предметы, которые внешне не изменились (то — да не то). Особенно подавляющи переходы в иноприродное состояние — больших исторических масс, т. е. когда становятся другими не переставая быть собой многосложные личности истории, (народы и культуры). Эти эмпирические переходы в инобытие и знаменуют собой смены эпох и исторических циклов; и именно тяжесть и смертный туман такого перехода и лежит в наше время на всей России и русских. ненависть всех не включенных в новый цикл русской истории и не захваченных мутацией русской массы — к революции объясняется, повидимому, тем, что для них новая русская реальность не узнаваема, и при том неузнаваемо именно то, что при всех изменениях осталось непоколебленным. Неузнавание же приводит к ожестчению. Вероятно кружат голову и вызывают приступ слепой злобы не революционные новшества, а то, что границы между прошлым и новым, конкретным и призрачным — исчезают, как в тумане и уже неразличимы. Россия должна казаться таким людям ужасным чудовищем — не то мертвым, не то живым.*) Отсюда и «бездомность» — «ни там, ни тут»...

Но не только заграничные — все русские магически стянуты к рубежу двух исторических циклов, лишь обращенность у каждого разная. Для одних — мзонично прошлое, для других — будущее, для третьих — настоящее.

В страшных муках, на глазах у всего мира, но в полном и всеобщем безпамятстве — произошла историческая смена одного вида России — другим. Если в такие моменты истории нужно

*) Головокружительная ненависть должна напр. вскипать не из мысли о комсомоле, а при отдавании соб. отчета в том, что Ленинград и Москва все также стоят на своих местах и Волга и Днепр по прежнему текут, «как ни в чем не бывало». И это не только при воображении издаലെка. Перед лицом их самих — «голооокружение» должно еще усилиться т. к. сквозь неизменность этих объектов еще острее будут проступать их новая реальность и инобытный аспект.

падать память о прошлом, то правомерно и прощительно также и острое болезненное отталкивание от него.

Надвинувшаяся реальность — мощнее отошедших теней. В то время, как для до-революционного сознания смертный страх будущего помрачает и убивает настоящее, для новых поколений — будущее уже стало сегодняшним днем. И, конечно, глаза видят лучше у тех, у кого призраки не впереди, а за спиной.

П. П. Сувчинский